

# ПРЕКРАСНЫЕ И ПРОКЛЯТЫЕ

РОМАН



Победитель принадлежит трофеям.

*Энтони Пэти*

# Книга 1

## Глава 1 ЭНТОНИ ПЭТЧ

В 1913 году, когда Энтони Пэтчу было двадцать пять, сравнялось уже два года тому, как на него, по крайней мере теоретически, снизошла ирония, этот Дух Святой наших дней. Эта ирония была как идеальный глянец на ботинке, как последнее касание одежной щетки, что-то вроде интеллектуального «алле». И все же в начале нашей истории он еще не продвинулся дальше стадии пробуждения сознания. Когда вы видите его в первый раз, он еще частенько интересуется тем, не окончательно ли он лишен благородства и в полном ли он рассудке, не представляет ли собой некой постыдной и неприличной необязательности, блещущей на поверхности мира, словно радужное пятно на воде. Естественно, эти периоды сменялись другими, когда он считал себя вполне исключительным молодым человеком, в достаточной мере утонченным, прекрасно подходящим к доставшейся ему среде обитания и в чем-то даже более значительным, чем кто бы то ни было.

Это было его здоровое состояние, и тогда он бывал веселым, приятным и весьма привлекательным для неглупых мужчин и всех без исключения женщин. Пребывая в этом состоянии, он считал, что наступит день, и он совершит какое-нибудь тонкое и негромкое дело, которое должным образом оценят избранные, а потом, пройдя остаток жизненной дороги, присоединится к не самым ярким звездам в туманной неопределенности небес, на полпути между бессмертием и смертью. А пока время для этого усилия еще не наступило, он будет просто Энтони Пэтчем — не портретом человека вообще, а живой развивающейся личностью, не лишенной некоторого упрямства и презрительности к окружающим, даже достаточно своевольной личностью, которая, сознавая, что чести не существует, все же хранит ее и, понимая всю призрачность мужества, все же рискует быть отважной.

## Достойный человек и его одаренный сын

Будучи внуком Адама Дж. Пэтча, Энтони впитал в себя примерно такое же количество осознания неизбежности своего социального положения, как если бы вел свой род из-за океана, прямо от крестоносцев. Это просто неизбежно; графы Виргинские и Бостонские, что ни говори, — аристократия, выросшая на деньгах, деньги первым делом и почитает.

Так вот, Адам Дж. Пэтч, в обиходе более известный как Сердитый Пэтч, покинул ферму своего отца в Территауне в начале 1861 года, чтоб записаться в Нью-Йоркский кавалерийский полк. С войны он вернулся майором, твердой ногой ступил на Уолл-стрит и, среди тамошних суматохи и нервотрепки, одобрения и недоброжелательства, сумел скопить что-то около семидесяти пяти миллионов.

Этому он отдавал всю свою жизненную энергию до пятидесяти семи лет, ибо именно в этом возрасте, после жестокого приступа склероза, решил посвятить остаток своей жизни моральному обновлению человечества. Он сделался реформатором из реформаторов. Стремясь превзойти непревзойденные достижения в этой области Энтони Комстока, в честь которого и был назван внук, он обрушивал целые серии апперкотов и прямых на литературу и пьянство, искусство и порок, патентованные лекарства и воскресные театры. Под влиянием зловредной плесени, избежать которой удастся с возрастом лишь очень немногим мозгам, он с жаром откликался на любое общественное возмущение эпохи. Из кресла в кабинете территаунского поместья он повел против необъятного гипотетического врага, имя которому было нечестивость, настоящую военную кампанию, длившуюся пятнадцать лет. В этой кампании Адам Пэтч проявил себя бойцом неистово упорным и смертельно всем надоевшим. Но к тому времени, где берет начало эта история, силы его поиссякли, кампания рассыпалась на отдельные беспорядочные стычки, и все чаще год нынешний, 1895-й, туманили видения давно ушедшего 1861-го, мысли все охотнее обращались к событиям Гражданской войны и все реже к умершим жене и сыну, а уж к внуку Энтони — и вовсе нечасто.

В самом начале своей карьеры Адам Пэтч женился на Алисии Уитерс, анемичной женщине лет тридцати, которая принесла ему сто тысяч долларов приданого и обеспечила беспрепятственный доступ в банковские круги Нью-Йорка. Почти немедленно и весьма отважно она родила ему сына и, как бы обессилев от величия

содеянного, с тех пор ступевалась в сумрачных пространствах детской. Мальчик же, Адам Улисс Пэтч, сделался со временем завсегдатаем клубов, знатоком хорошего тона и ездоком на тандемах, а в возрасте двадцати шести лет несколько несвоевременно начал писать мемуары под названием «Нью-Йоркский свет, каким я его знал». Судя по слухам, концепция произведения была весьма любопытна, и среди издателей началась настоящая битва за право на издание, но после его смерти оказалось, что рукопись непомерно многословна и ошеломляюще скучна, так что ее отказались печатать даже за счет автора.

Женился этот лорд Честерфильд Пятой авеню в двадцать два года. Женой его стала Генриетта Лебрюн — «контральго бостонского света», а единственный плод этого союза по требованию деда был окрещен как Энтони Комсток Пэтч. Однако к тому времени, когда Энтони поступил в Гарвард, это «Комсток» как-то само собой изъясилось из его имени и погрузилось в столь глубокое забвение, что никогда уже не всплывало.

В молодости у Энтони была фотография, на которой его родители снялись вместе. В детстве она так часто попадалась ему на глаза, что постепенно приобрела безликость предмета мебелировки, но у того, кто попадал в спальню Энтони первый раз, этот снимок мог вызвать определенный интерес. На нем, подле темноволосой дамы с муфтой и намеком на турнюр, был изображен сухощавый, приятной наружности светский щеголь образца девяностых годов. Между ними помещался маленький мальчик в длинных темно-русых кудряшках и бархатном костюмчике «а-ля лорд Фаунтлерой». Это был Энтони в возрасте пяти лет — в год, когда умерла его мать.

Его воспоминания о «бостонском контральго» были смутны и музыкальны. Она представлялась женщиной, которая только и делала, что пела в музыкальной гостиной их дома на Вашингтонсквер; иногда окруженная россыпью гостей — мужчин со скрещенными руками, примостившихся, затаив дыхание, на краешках диванов, женщин с уложенными на коленях ладонями и что-то время от времени едва слышно шептавших мужчинам, зато всегда очень громко аплодировавших и после каждой песни издававших воркующие вскрики. Нередко она пела только для Энтони — по-итальянски, по-французски или на чудовищном диалекте, которым, как она считала, пользуются негры-южане.

Воспоминания об эlegantном Улиссе, который первым в Америке отвернул лацканы своего пиджака, были более жизнеподобны. После того как Генриетта Лебрюн Пэтч «перешла в другой хор», как замечал прерывающимся время от времени голосом ее вдовец, отец и сын перебрались на жительство в Территаун к деду. Улисс ежедневно заходил к Энтони в детскую и порой проводил там около часу, наполняя пространство вокруг себя приятными, густо пахнущими словами. Он без конца обещал взять Энтони с собой на охоту, на рыбалку и даже провести денек вместе в Атлантик-Сити — «да, теперь уже совсем скоро», — но ничему из этого не суждено было осуществиться. Хотя одно-единственное путешествие они все-таки совершили. Когда Энтони исполнилось одиннадцать лет, они отправились за границу, в Англию и Швейцарию, и там, в лучшем отеле Люцерна, среди мокрых от пота простыней, что-то неразборчиво бормоча и отчаянно моля о глотке воздуха, его отец умер. Домой в Америку Энтони был доставлен в состоянии полубезумного отчаяния, и с тех пор беспричинная меланхолия сделалась его спутницей на всю жизнь.

### Герой, его личность и прошлое

Одиннадцатилетним он уже знал, что такое ужас смерти. В течение шести больше всего запоминающихся ребенку лет один за другим умерли родители; как-то совсем незаметно делалась все бесплотнее бабушка, пока однажды, впервые за все годы замужества, не стала вдруг на один день полновластной хозяйкой в собственной гостиной. Немудрено, что жизнь представлялась Энтони постоянной борьбой со смертью, которая таилась за каждым углом. У него появилась привычка читать в постели; это отвлекало, хоть и было, по сути, уступкой болезненному воображению. Он читал, пока не слипались глаза, и частенько засыпал, не погасив света.

Лет до четырнадцати его любимым развлечением и в то же время огромной, почти всепоглощающей мальчишеской страстью было собирание марок. Дед, не вдаваясь в подробности, считал, что такое увлечение способствует изучению географии, поэтому Энтони завел переписку с полудюжиной филателистических фирм, и редкий день почта не приносила ему новых наборов марок либо пачки гляцевитых рекламных проспектов. Занимаясь бесконечным переключением своих приобретений из одного альбома в другой, он получал неизъяснимое, таинственное наслаждение. Марки сделались величайшей радостью его жизни; всякого, кто пытал-

ся вмешаться в его филателистические игры, он награждал хмурым и нетерпеливым взглядом. Марки пожирала все его карманные деньги, он мог проводить с ними ночи напролет, не уставая поражаться их разнообразию и многоцветному великолепию.

К шестнадцати годам он почти целиком погрузился в свой внутренний мир, сделавшись таким молчаливым, совсем не похожим на американца юношей, воспринимавшим окружающих с вежливым недоумением. Два предшествовавших года были проведены в Европе с наемным учителем, который убедил его, что продолжать образование стоит только в Гарварде; это откроет ему «все двери», несказанно закалит его дух, не говоря уже о том, что принесет массу самоотверженных и преданных друзей. Поэтому он и отправился в Гарвард, и это был, пожалуй, единственный поступок, который он совершил, повинувшись логике.

Какое-то время он жил отшельником в одной из лучших комнат Бек-Холла, мало заботясь мнением окружающих о себе, — стройный темноволосый юноша среднего роста с лишенным твердости чутким ртом. Недостатка в деньгах он не испытывал и решил, не откладывая, положить начало собственной библиотеке, приобретя у некоего странствующего библиофила, кроме первых изданий Суинберна, Мередита и Харди, пожелтевшее от времени, неразборчивое письмо Китса, и лишь много позже обнаружил, какую несусветную цену за все это заплатил. Он сделался завзятым щеголем, заведя для этой цели не вызывающую ничего, кроме жалости, коллекцию шелковых пижам, парчовых халатов и галстуков, слишком, правда, ярких, чтоб в них можно было появиться на людях. Зато он мог расхаживать во всем этом потаенном великолепии перед зеркалом у себя в комнате или, облачась в атлас, вольно раскинуться на кушетке и смотреть вниз, во двор, нечувствительно постигая суматошную быстротечность законной жизни, частью которой ему, по всей видимости, не суждено было стать.

На последнем курсе он с немалым удивлением обнаружил, что не совсем безразличен сокурсникам. Оказалось, что его почитали фигурой довольно романтической, таким столпом эрудированности, помесью затворника и книгочеля. Это, в общем-то, изумило, но втайне и порадовало — он начал появляться в обществе, сначала понемногу, потом все больше. Участвовал во всех рождественских пудингах. Он пил — не афишируя особо, но и не отставая от других. О нем стали говорить, что если б он не поступил в университет так рано, то «мог бы закончить курс с отличием». В 1909 году, когда он закончил Гарвард, ему было всего двадцать лет.

Потом опять была заграница — на этот раз Рим, где он поочередно флиртовал с живописью и архитектурой, брал уроки игры на скрипке и написал несколько ужасных итальянских сонетов, призванных явить собой рассуждения средневекового монаха о радостях созерцательной жизни. Весть о том, что он в Риме, распространилась среди его приятелей по Гарварду, и те из них, кто оказался в том году в Европе, охотно заезжали к нему и в частых прогулках лунными ночами многое открывали для себя в этом городе, который был старше не только Возрождения, но и вообще самой идеи республики. Мори Нобл из Филадельфии, например, гостил целых два месяца; они вместе постигали своеобразное очарование итальянок и обретали восхитительное чувство быть юными и свободными среди культуры, которая была свободна уже тысячи лет. Нередко его навещали знакомые деда, и, возымея Энтони желание, он вполне мог бы стать *persona grata* в дипломатических кругах; и хотя он сам начинал понимать, что праздник жизни все больше нравится ему, от юношеской привычки к затворничеству и явившейся следствием этого застенчивости не так-то легко было избавиться.

Он вернулся в Америку в 1912 году из-за очередной внезапной болезни деда и после чрезвычайно утомительного разговора с неизбежно выздоравливающим стариком решил до его смерти расстаться с идеей о постоянном жительстве за границей. После длительных поисков он снял на Пятьдесят второй улице квартиру и на том, по крайней мере внешне, успокоился.

В 1913 году процесс приспособления Энтони Пэтча к окружающей среде достиг завершающей стадии. Внешний облик его по сравнению со студенческими днями заметно изменился к лучшему — оставаясь все еще излишне худощавым, он раздался в плечах, и со смуглого лица исчезло испуганное выражение студента-первокурсника. Он был всегда с иголки одет и в глубине души даже педантичен; друзья утверждали, что никогда не видели его непричесанным. Нос у него был чуть островат, а слишком откровенный рот, готовый опустить уголки даже в минуты самого легкого уныния, являл собой одно из не слишком приятных для владельца зеркал настроения; зато его голубые глаза были равно очаровательны и оживленные острой мыслью, и полуприкрытые в минуты меланхолии.

Хотя черты его и не были отмечены той симметрией, которая так важна для арийского идеала, некоторые все же находили его

красивым, но гораздо большее значение имело то, что и по виду, и по сути он был чист той особой чистотой, которая бывает только у людей красивых.

### Его безупречная квартира

Пятая и Шестая авеню представлялись Энтони стойками гигантской лестницы, брошенной от Вашингтон-сквер до Центрального парка. Путешествие на крыше автобуса на север, до Пятьдесят второй улицы, неизменно вызывало ощущение, что он взбирается по шатким перекладинам, по очереди вцепляясь в каждую из них, и когда автобус останавливался на его собственной, он, спускаясь по безрассудно-крутым металлическим ступеням на тротуар, испытывал что-то сродни облегчению.

После этого ему оставалось пройти полквартила по Пятьдесят второй улице мимо тяжеловесных особняков из бурого кирпича, и он единым духом оказывался под высокими сводами своей лучшей в мире гостиной. Она нравилась ему во всех отношениях. Здесь, собственно, и начиналась жизнь. Здесь он спал, завтракал, читал, здесь принимал гостей.

В целом же дом, в котором он квартировал, построенный в конце девяностых годов из темного камня, постепенно был полностью перестроен в угоду растущей потребности в небольших квартирах и теперь сдавался по частям. Из четырех квартир та, которую занимал на втором этаже Энтони, была самой приличной.

В гостиной были прекрасные потолки, три огромных окна открывали приятный вид на Пятьдесят вторую улицу. Убранству комнаты удалось избежать четкой печати какой-либо эпохи; она была без лишней мебели, без голой пустоты, без явных признаков упадка. Не пахла ни серой, ни ладаном — была просто вместительная и, может быть, чуточку грустная. В ней помещался диван из мягчайшей коричневой кожи, обьятый текучим туманом дремоты. В ней стояла высокая китайская ширма, украшенная черно-золотистой лаковой росписью, изображавшей напоминающих геометрические фигуры охотников и рыболовов; она выгораживала в углу нишу для массивного кресла, возле которого стоял на карауле оранжевый торшер. И еще был камин, на задней стенке которого просматривался какой-то обгоревший до черноты герб.

Пройдя через столовую, которая, в силу того что Энтони только завтракал дома, являла собой лишь величественный символ



таковой, и миновав сравнительно просторную прихожую, можно было попасть в святая святых жилища — спальню и ванную.

Обе они были необъятны. Под сводами первой даже огромная, увенчанная пологом кровать казалась весьма средних размеров. Раскинувшийся на полу восточный ковер из алого бархата ласкал босую ногу, словно небесная кудель. Ванная комната, в противовес сумрачному колориту спальни, была цветистой, легкомысленно гостеприимной и даже чуть игривой. На стенах ее помещались взятые в рамки фотографии четырех увенчанных за последнее время жриц Мельпомены: Джулия Сандерсон в «Солнечной девочке», Айна Клер в «Юной квакерше», Билли Бёрк в «Недотроге» и Хейзл Дон как «Дама в розовом». Между Билли Бёрк и Хейзл Дон висела репродукция, изображающая бескрайний заснеженный простор, освещаемый огромным, зловещего вида солнцем. Она, по словам Энтони, символизировала холодный душ.

Ванна, оборудованная оригинальным и удобным держателем для книг, была просторна и вделана почти вровень с полом. Стенной шкаф рядом с ней ломился от белья, которого вполне хватило бы на троих, и целых залежей галстуков. Здесь не было грустно-славного истертого коврика, похожего на полотенце, брошенное на пол; мокрую ногу, явившуюся из ванной, массирувало несказанной мягкостью такое же чудо коврового искусства, что и возлежавшее в спальне...

Одним словом, это была главная арена священнодействия. Легко было заметить, что именно здесь Энтони переодевается, здесь же доводит до совершенства свою прическу, в общем, делает практически все, разве что не спит и не ест. Эта ванная комната была его гордостью. Он знал, что, если бы у него была возлюбленная, он повесил бы ее портрет прямо над ванной, чтоб, растворяясь в баюкающих волнах горячего пара, можно было лежать и взирать на нее снизу вверх, в тепле и неге созерцая ее красоту.

### И времени не тратя даром

Порядок в квартире поддерживал слуга-англичанин с удивительно, до нарочитости подходящей ему фамилией Баундс, чье совершенство нарушалось только тем фактом, что он носил мягкий воротничок. Если бы Баундс целиком принадлежал ему, Энтони в конце концов добился бы устранения сего дефекта, но тот был Баундсом еще для двух джентльменов, живших по соседству. Но с восьми до одиннадцати утра Баундс был всецело в распо-

ряжении Энтони. Он являлся с почтой и готовил завтрак. В девять тридцать он дергал за край одеяла Энтони и произносил несколько исполненных сдержанности слов. Энтони никогда не мог вспомнить, что это были за слова, но имел сильное подозрение, что почтительностью от них и не пахло. Потом Баундс накрывал завтрак на картонном столе в гостиной, убирал постель и, осведомившись с некоторой враждебностью, не нужно ли чего еще, удалялся.

По утрам, по крайней мере раз в неделю, Энтони навещал своего биржевого агента. С денег, оставленных матерью, он получал в виде процентов немногим меньше семи тысяч в год. Дед, который и собственному сыну не позволял переступать рамок весьма щедрого, надо сказать, содержания, считал, что этой суммы на нужды юного Энтони вполне достанет. Каждое Рождество он посылал внуку пятисотдолларовую облигацию, которую тот при первой же возможности продавал, потому что всегда, хоть и не остро, нуждался в деньгах.

Содержание этих визитов к брокеру могло колебаться от полусветской болтовни до обсуждения надежности вложений под восемь процентов, и они неизменно доставляли Энтони удовольствие. Само огромное здание трастовой компании, казалось, для того и существовало, чтоб он мог ощутить свою несомненную связь с теми огромными состояниями, чью сплоченность так уважал, чтоб убедить его в том, что и он надлежащим образом представлен в иерархии финансового мира. От этих вечно спешащих людей ему передавалось то самое чувство защищенности, которое он обретал, размышляя о богатстве деда; даже больше, ибо в его представлении те деньги были скорее некой ссудой до востребования, которую мир выдал Адаму Пэтчу за его личную высокоморальность, в то время как здешние капиталы казались, скорее, добычей, захваченной и удерживаемой только силой упорства и огромным усилием воли. Кроме того, эти деньги он ощущал более определенно и исключительно как деньги.

Хотя Энтони частенько доводилось наступать на пятки собственному бюджету, все же он считал себя достаточно обеспеченным. Конечно, в один прекрасный, без преувеличения можно сказать, «золотой» день у него будет куча денег, а пока оправданием его существования были замыслы создания нескольких эссе о римских папах эпохи Возрождения. Это и возвращает нас к сцене разговора Энтони с дедом сразу после прибытия из Рима.

Он надеялся не застать деда в живых, но, позвонив прямо с причала, узнал, что Адам Пэтч вновь пребывает в сравнительно

добром здравии, и на следующий день, скрывая разочарование, отправился в Территаун. Преодолев пять миль от станции, такси въехало на тщательно ухоженную дорожку, которая стала пробираться среди настоящего лабиринта из стен и проволочных заборов. Все это было следствием того, догадывалась публика, что если социалисты добьются своего, то одним из первых людей, до кого они захотят добраться, — и это было тоже доподлинно известно — будет старина Сердитый Пэтч.

Энтони запаздывал, и почтенный филантроп, поджидая его на застекленной веранде, уже второй раз просматривал утренние газеты. Его личный секретарь Эдвард Шаттлорт, бывший до своего перерождения азартным игроком, содержателем кабака и по всем параметрам негодяем, проводил Энтони в комнату, где и продемонстрировал ему, как бесценное сокровище, своего спасителя и благодетеля.

Они церемонно пожали друг другу руки.

— Я так рад был услышать, что вам лучше, — сказал Энтони.

С таким видом, словно не встречался с внуком всего неделю, Пэтч-старший вытащил из кармана часы.

— Что, поезд опоздал? — кротко осведомился он.

Хотя был явно раздосадован задержкой. Дед питал стойкую иллюзию не только относительно того, что сам в юности был образцом пунктуальности и доводил все начатое до последней точки, но также считал это прямой и главнейшей причиной своего успеха.

— Поезда частенько опаздывают в этом месяце, — заметил он с тенью робкого укора в голосе, и после продолжительного вдоха добавил: — Садись.

Энтони разглядывал деда с тем немым изумлением, в которое его неизменно повергало сие зрелище. Невозможно было поверить, но власть этого тщедушного невежественного старика, вопреки заявлениям «желтых» журналов, была такова, что во всем государстве таких людей, чьи души он прямо или косвенно не мог купить, едва хватило бы, чтоб заселить Уайт-Плейс. Еще труднее было поверить в то, что когда-то он был пухлым розовым младенцем.

Всю его семидесятипятилетнюю жизнь можно было уподобить неким волшебным кузнечным мехам — первая четверть века в избытке вдохнула в него жизнь, зато последняя теперь высасывала обратно. Она впиталась в его щеки, грудь, иссушила ноги и руки. Властно, один за другим отобрала все зубы, утопила и без того небольшие глазки в сизовато-серых мешках, выщипала волосы. Словно ребенок, усердствующий над коробкой с красками, она безрас-

судно перемешала все цвета: серое сделалось кое-где белым, а розовое безвозвратно пожелтело. Завладев телом и духом, она пошла в атаку на его мозг. Послала ему холодный ночной пот, беспричинные страхи и слезы, здравый смысл расщепила на подозрительность и легковёрность. Из добротной парусины его энтузиазма она выкроила десятки мелких, но мучительно-навязчивых вождельней; все его жизненные силы ужались до капризности несносного ребенка, а воля к власти заменилась пустым и инфантильным желанием обрести страну арф и песнопений здесь, на земле.

Когда процесс осмотрительного обмена необходимыми любезностями закончился, Энтони уяснил, что от него ждут четкой обрисовки собственных намерений; одновременно некий блеск в стариковских глазах предупреждал, что делиться своими намерениями осесть за границей не стоит, во всяком случае сейчас. Энтони очень хотелось, чтобы у ненавистного Шаттлуорта хватило такта хотя бы выйти из комнаты, но секретарь, непринужденно устроившись в кресле-качалке, переводил взгляд своих выцветших глаз с одного Пэтча на другого.

— Теперь, когда ты здесь, ты должен чем-нибудь заняться, — мягко вел дед, — достичь чего-нибудь.

Энтони ждал, что сейчас дед скажет «оставить что-то после себя». Тогда он решил высказаться:

— Я думал... Ну, мне казалось, что моя подготовка позволила бы мне написать...

Адам Пэтч сморщился, представив себе, что в семье завелся поэт с длинными волосами и тремя любовницами.

— ...что-нибудь на историческую тему, — закончил Энтони.

— Значит, по истории. Истории чего? Гражданской войны? Революции?

— Ну, не совсем, сэ. По истории Средних веков.

Именно в тот момент ему пришла идея написать что-нибудь о папах времен Возрождения с какой-нибудь новой точки зрения. Но он был рад, что произнес всего лишь «Средние века».

— Средние века? Но почему не о своей стране? О том, что ты знаешь?

— Видите ли, я так долго жил за границей...

— Не понимаю, почему ты должен писать об этих Средних веках. Мы привыкли называть их Темными веками. Никто не знает, что тогда происходило, да и никому это не интересно. Прошли, и ладно.

Он распространялся еще несколько минут о бесполезности таких знаний, коснувшись, естественно, испанской инквизиции и «разложения монашества». Потом изрек:

— А не взяться ли тебе за какую-нибудь работу в Нью-Йорке?.. Если ты, конечно, вообще намерен работать.

Последнее было сказано с мягким, почти неуловимым презрением.

— Да, конечно. Я намерен, сэр.

— И когда же ты закончишь?

— Ну, понимаете, это будет что-то вроде обзора... Много подготовительной работы. Нужно многое прочесть.

— А я-то подумал, ты только этим и занимался.

Их неровная беседа естественным образом и несколько внезапно прервалась, когда Энтони встал, посмотрел на часы и заметил, что договорился именно сегодня встретиться с брокером. Он собирался остаться у деда на несколько дней, но был утомлен и раздражен качкой на корабле и вовсе не хотел терпеть эту вкрадчиво-ханжескую надменность. Сказал, что заедет еще в ближайшее время.

Тем не менее именно благодаря этой встрече мысль о работе прочно вошла в его жизнь. За год, протекший с тех пор, он подготовил несколько списков источников, пытался даже прикинуть названия глав и наметить периодизацию, но ни одна строчка готового текста не появилась, и не было похоже, что когда-нибудь появится. Он не делал ничего — и вопреки прописной логике умудрялся извлекать из этого ничегонеделанья удовольствие.

## День

Был октябрь 1913 года, и самая середина из череды прелестных дней, пронизанных бездельно слоняющимся в переулках солнечным разливом, напоенных томным воздухом, отягченным лишь неслышным падением листвы. Было приятно сидеть у распахнутого окна, заканчивая главу «Едгина». Было просто восхитительно часов в пять зевнуть, бросить книжку на стол и, мурлыкая себе под нос, направиться через прихожую в ванную.

К тебе... о... прекра-асная леди, —

пел он, отворачивая кран.

Я устремляю свой... взор.

К тебе, о... прекра-асная ле-еди-и,

Им возношу свой укор...

## Содержание

ПРЕКРАСНЫЕ И ПРОКЛЯТЫЕ. Роман	
<i>Перевод В. Щенникова</i> .....	5
Примечания. <i>В. Щенников</i> .....	372
<b>ФИФЫ И ФИЛОСОФЫ</b>	
Прибрежный пират. <i>Перевод Е. Петровой</i> .....	383
Ледяной дворец. <i>Перевод В. Харитонова</i> .....	413
Голова и плечи. <i>Перевод А. Глебовской</i> .....	437
Хрустальная чаша. <i>Перевод А. Яврумяна</i> .....	463
Волосы Вероники. <i>Перевод Л. Беспаловой</i> .....	484
Благословение. <i>Перевод А. Глебовской</i> .....	509
Как Далиримпл сбился с пути. <i>Перевод А. Глебовской</i> .....	526
Четыре затрещины. <i>Перевод Е. Калявиной</i> .....	544
<b>ИСТОРИИ ВЕКА ДЖАЗА</b>	
Содержание. <i>Перевод Е. Петровой</i> .....	563
Мои последние фифы	
Джеллибин. <i>Перевод Л. Бриловой</i> .....	568
Задняя половина верблюда. <i>Перевод Л. Бриловой</i> .....	587
Первое мая. <i>Перевод Т. Озерской</i> .....	613
Фаянсовое и розовое. <i>Перевод С. Сухарева</i> .....	666
Фантазии	
Алмазная гора. <i>Перевод В. Муравьева</i> .....	677
Загадочная история Бенджамина Баттона	
<i>Перевод Е. Калявиной</i> .....	710
Тарквиний из Чипсайда. <i>Перевод С. Сухарева</i> .....	736
«О, Рыжеволосая Ведьма!». <i>Перевод С. Сухарева</i> .....	743

## СОДЕРЖАНИЕ

---

Шедевры, не поддающиеся классификации	
Осадок счастья. <i>Перевод А. Глебовской</i> .....	776
Мистер Ики. <i>Перевод С. Сухарева</i> .....	798
Джемина, или Девушка с гор. <i>Перевод С. Сухарева</i> .....	805
ВСЕ ЮНОШИ ПЕЧАЛЬНЫЕ	
Молодой богач. <i>Перевод В. Хинкиса</i> .....	813
Зимние мечты. <i>Перевод Ю. Жуковой</i> .....	851
Детский праздник. <i>Перевод Е. Калявиной</i> .....	872
Отпущение грехов. <i>Перевод Е. Калявиной</i> .....	884
Форс Мартин-Джонс и пр-нц Уэ-ский. <i>Перевод Л. Бриловой</i> .....	900
Целитель. <i>Перевод Л. Бриловой</i> .....	918
Решение. <i>Перевод М. Загота</i> .....	939
«Самое разумное». <i>Перевод С. Белокриницкой</i> .....	954
Сюрприз для Гретхен. <i>Перевод М. Макаровой</i> .....	968